

ТАТЬЯНА ХОХРИНА



СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ —
МАЛАХОВКА

Татьяна Хохрина
Следующая станция
– Малаховка
Серия «Имена. Российская проза»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74537631
Следующая станция – Малаховка: Москва; 2026
ISBN 978-5-389-35435-7

Аннотация

Добро пожаловать в Малаховку!

Замечательный, остроумный рассказчик, Татьяна Хохрина с неповторимой интонацией делится историями своих немного нелепых, но неизменно трогательных персонажей. А главное – она бесконечно их любит, и эта любовь передается читателям, которые смеются и грустят, сочувствуют и негодуют, перелистывая страницы книги. А дочитав до последней, непременно опять раскрывают книгу, чтобы перечитать самый любимый рассказ, потому что, раз оказавшись в Малаховке, каждый непременно хочет побывать там вновь и вновь.

Содержание

Вместо предисловия	5
Покидая наш маленький город, я пройду мимо ваших ворот...	5
Формула счастья	12
Соленые огурчики	13
Старье берем	18
А как первая любовь – она сердце жжет...	23
Ожидание	29
Суки	36
Конец ознакомительного фрагмента.	38



Татьяна Хохрина

Следующая станция

– Малаховка

В оформлении обложки использована картина Валентина Губарева «Забытый полустанок»

В оформлении шмуц-титолов использованы картины Валентина Губарева «Птаха», «Разговор талмудиста и агностика», «Возраст – как время года»

© Хохрина Т., 2026

© Губарев В. А., иллюстрации, 2026

© ООО «Издательство АЗБУКА», 2026

Вместо предисловия

Покидая наш маленький город, я пройду мимо ваших ворот...

Я за городом. Сажу на террасе и смотрю в окно. Окно в Малаховку. Хотя это уже не совсем так. Малаховка, как большинство близких к Москве и излюбленных дачных мест, преобразилась до неузнаваемости. Собственно, от той Малаховки, где я посмотрела в окно первый раз в жизни, ничего не осталось. Я узнаю ее, только просыпаясь утром и видя тот же клен, который сто лет назад приветственно помахал осенними красно-золотыми листьями в знак моего рождения. Рисунок переплетения его ветвей не изменился, и я с закрытыми глазами знаю, где густая листва не пропускает света, где почти осязаемо виден горячий солнечный луч, а где одинокий листок стал на свету прозрачен, и на нем видны жилки, как на ухе ребенка. Всей остальной Малаховки уже нет.

А ведь какой это был особенный и необычный поселок! Малаховку определяло несколько обстоятельств, сделавших ее непохожей ни на какое другое подмосковное место. Я б даже сказала – местечко. Потому что первым индивидуаль-

ным признаком Малаховки было то, что она не стала местечком только потому что находилась близко от столицы, а так не уступила бы ни Бердичеву, ни Млинову, ни Купелю или Жмеринке. Может, только превзошла бы их в части грамотности и просвещения. Остальные же признаки местечка были налицо: еврейское кладбище, общинный молельный дом, базар и множество населявших Малаховку и зимой, и летом еврейских семей. Я еще помню, когда на улице или на рынке идиш звучал не реже русского языка или, скорее, смешивался с ним, превращаясь в своеобразный малаховский суржик. Благодаря этому я, родившись в русско-еврейской семье, где идиш знала только бабушка, до сих пор понимаю, помню и выхватываю из чужой речи неожиданно знакомые слова и выражения. И хотя это в основном присказки и ругательства, они греют мне душу.

На нашем отрезке улицы Республиканской, тянущейся через всю Малаховку в Красково, жил десяток еврейских семей, которые, словно в энциклопедическом словаре, демонстрировали возможные сферы применения евреев в народном хозяйстве. Мои родители были юристами, на углу жила детский врач Сарра Оскаровна Флейшман, чуть дальше – знаменитый уролог Ган, напротив – протезист Хайкин, рядом – ювелир Элькис и санинспектор Цикерзон, на другом краю делили дом директор комиссии Брофман и учительница Опельбаум, за высоким забором таился директор строительного рынка Кацель, а замыкал этот оазис физик с

неожиданной для физика фамилией Ландау. Наш дом был пополам с братьями – инженером и биохимиком – Жуковскими, чья семья выкрестилась еще до революции и потому смогла подарить Отечеству, помимо названных героев, диктора Игоря Кириллова, который безупречно вещал по-русски, а его мама и тетка так же гладко – на идише. Ну и кто скажет, что мы все не могли бы встретиться в Житомире!

За исключением строительного рынка и комиссионки, которые, кстати, тоже не сильно демонстрировали уровень возможностей, остальные жили по-разному, но в целом достаточно скромно, совершенно не вызывая у местного православного населения желания заглянуть к ним с гирькой на цепочке или подпалить сарай. Напротив, мы все жили очень мирно, дружно, и почетную характеристику «жидовская морда» я услышала только в Бауманском институте, где вышеназванных жидов как раз было как лейкоцитов в хорошей моче – только следы. А малаховская жизнь у всех была примерно одинаковая: заборы у всех, кроме строителя Кацеля, низкие и реденькие, возможности прозрачные, очереди и блат общие, так что ничего особенно и не раздражало. Детей с кашлем и сыпью волокли к Сарре Оскаровне, взрослых с разводами и уголовными делами – к моим родителям, недержание исправлял Ган, а прикус – Хайкин, грамотно писать учила Фира Опельбаум, а теорию относительности понимал только местный Ландау. Одевались прилично мы все в комиссионке Брофмана. Вполне себе замкнутая экосисте-

ма, позволявшая тогда жить и работать если не по-ленински, то по-человечески.

Как уже было отмечено, особую знаковость Малаховке придавало еврейское кладбище, где нашли последний приют многие еврейские знаменитости и еще в большем количестве никому не известные их соплеменники. Когда-то долгое время вопросами соблюдения традиции на похоронах ведал шикарный биндюжник абсолютно бабелевского типа по фамилии Русский. Шломо Вэлвел Русский. Когда умер мой дед, и бабушка, в принципе очень далекая от религии, захотела, чтобы прочли кадиш¹, ей предложили обратиться к Русскому, и она долго плакала, считая, что это ее дразнят и издеваются над ее горем. Отдельным, не очень достойным развлечением на заре моей юности было гуляние по кладбищу и чтение эпитафий и фамилий усопших, отчего иногда в самый неподходящий момент в тишине кладбища разносилось гомерическое жеребячье ржание. Причем особенно смешно звучали надписи, читаемые с еврейским акцентом. Недалеко от могилы моего деда стояло огромное мраморное надгробье с целой скульптурной группой, а на плите была надпись: «Самуил, ты ушел, так что?! Кому от этого стало лучше?!» Раньше, чтобы лечь на этом кладбище, было достаточно быть просто евреем. Теперь дудки! Теперь разрешение на захоронение на малаховском еврейском кладбище дает Берл-Лазар, и надо, похоже, всю жизнь стараться, чтоб по ее окончании

¹ Поминальная молитва.

притулиться в этом святом месте.

Большая концентрация евреев в Малаховке поставила еще один, тогда почти неразрешимый, вопрос: где взять мацу? Специальной пекарни не было, христианских младенцев местные евреи не имели привычки обижать, но традицию никто не отменял, и люди пытались каким-то образом хотя бы на Песах мацой разжиться. Стоит ли говорить, что спрос родил предложение от простой русской женщины Настасьи Петровны Зеленцовой, которая имела такие коммерческие таланты, что сам Сорос бы не отказался пойти к ней в ученики. Толстая Аська (как звали по-соседски Зеленцову) быстро сообразила, что выгоднее производства мацы только торгующая оружием и наркотиками, но за это больше дадут. Поэтому в огромном подвале своего дома она развернула пекарню, нашла где-то десяток правоверных евреев, которые знали слова и рецепты, и дело пошло! Ко второму году производство приняло почти промышленные масштабы, мацу штамповали тоннами, в работе участвовали уже все 120 национальностей Советского Союза. У Толстой Аськи было даже собственное клеймо, отмечавшее каждый лист мацы, но ее и так бы никто не спутал, потому что вкуснее Аськиной мацы никто никогда не пробовал. Когда с начала марта от электричек в сторону Аськиного дома пошли уже колонны сомнительных граждан с характерным профилем, местные власти не выдержали и вызвали Аську в обком. Оказалось, на этот случай у Аськи партбилет тоже был, удивительно толь-

ко, что не под номером 000001, и она, как честная и преданная общему делу партийка, доложила ошалевшему секретарю обкома, что не жалеет толстого живота своего, чтоб не посрамить Малаховку в глазах мировой общественности и доказать, что у нас свобода всего на свете, а выпечки мацы – тем более. При этом Аська жарко шептала партийной верхушке, что нельзя было такое дело пустить на самотек, доверить беспартийным, что у нее учтен каждый едок мацы и она себя полноправно считает на подпольной работе. В известном смысле она не вралась – мацу таки пекли под полом, в подвале. Кстати, евреев Аська тоже удовлетворила: за недорого разжилась метрикой, что она-де на самом деле Хася Пинхасовна Гринкер, осиротевшая после кишиневского погрома. И все ей радостно поверили, хотя родилась она минимум лет через двадцать после тех кровавых событий. Когда после пятнадцати лет непрерывного производства мацы Аскин дом сгорел от пошлого короткого замыкания, его судьбу оплакивали в едином порыве, но по разным основаниям и партийные органы, и местное КГБ, и еврейская община.

Тот пожар стал символом не только исчезновения малаховской мацы, но и первым сигналом начала конца той Малаховки. Без мацы, но главным образом по другим причинам и благодаря открывшимся возможностям еврейский люд потянулся в ОВИРы и далее, старые чудесные деревянные дачи пошли с молотка, а новые жилыцы предпочитали другие архитектурные решения. Для начала Малаховка вдруто

покрылась лабиринтом высоченных заборов, из-за них торчали шпили и маковки кирпичных замков тюремно-романтического стиля. Вновь прибывшие хотели не знакомиться, а отгородиться, с велосипедов все пересели на машины, поэтому многие, живя рядом не один год, не знают друг друга в лицо и по имени, да и не стремятся узнать. Новые дороги и хорошие автомобили приблизили Москву почти до расстояния вытянутой руки, кругом асфальт, рынок заполнен тем же ассортиментом с той же продуктовой базы, что и все московские рынки, и только немногие старожилы радостно встречаются раз в неделю в очереди за творогом и сметаной к Вере или Ларисе, которые чудесным образом не стареют и помнят еще наших бабушек. Многим нравится играть в жизнь американского пригорода, называть свои дома коттеджами, коптить малаховское небо барбекюшницами и каминами, но лица их домов настолько стерты и невыразительны, а жизнь за этими заборами так виртуальна, что, кажется, ошибись они дорогой и прикати в другое место, разницы никто не почувствует.

Может, именно поэтому и зимой и летом я вглядываюсь в Малаховку через свое окно, чтоб узнать знакомые, неповторимые черты, отпечатать их внутри себя и, как в брошенной в море бутылке, пустить в плавание к следующим поколениям...

Формула счастья



Соленые огурчики

– Нет, тетя Циля, все-таки объясните мне, в чем причина? Мы же похожи как две капли воды! Когда я смотрю на Белку, мне кажется, что я смотрю в зеркало! Мы не просто двойняшки, у нас даже родинки на одном месте, у обеих левая бровь выше, мы обе картавим, у нас одинаковый размер барахла. Мы две абсолютные копии. Все люди существуют в единственном числе, а нашим родителям на всякий случай природа подсунула два экземпляра, согласно фамилии Дубель. Причем Белка – оригинал, а я – второсортный дубликат.

Бабушка Циля крутилась на терраске, солила огурцы, а Элка Дубель, как обычно, примостилась на широких перилах крыльца и жаловалась ей на свою тяжелую судьбу и загубленную жизнь. Элкино скорбное перечисление неудач и обид обрушивалось водопадом Виктория, так что бабушка могла только слушать. Вставить хоть слово было невозможно. Поэтому Цыпа успела перемыть ведро малюсеньких огурчиков, отрезать им попки, набить ими трехлитровые банки, перекладывая раздавленными дольками чеснока, зонтиками укропа и листьями вишни, смородины и дуба. Другое ведро уже закипало на крохотной электроплитке, чтобы растворить в кипятке соль и сахар, забросить туда горошины душистого и горького перца и сделать рассол. Поэтому

на Элкины речи бабушка реагировала только мимикой, то поднимая брови, то качая головой, то открывая рот. А Элка продолжала:

– Тетя Циля, ну правда! Почему так? Почему с младенчества при таком совпадении все у нас было по-разному? Почему Белка спала в кроватке, а я – в старом корыте? Почему она носила новую шубку и новые валенки, а я – доставшиеся от папиной племянницы? Почему, когда мы пошли в первый класс и мама гладила перед первым сентября парадные фартуки, мне достался тот, где она случайно прожгла дырочку, а Белке – новехонький? Почему, если оставался один свежий воротничок, его пришивали Белке, а я тащилась в грязном? Когда мы подросли, Белке купили диванчик, а мне хватило места только на кресло-кровать? А вы спали когда-нибудь на кресле-кровати? Это же пытка! Сейчас на этом чертовом кресле даже наша собака спать не хочет, а мне годилось! – Элка громко шмыгнула носом и всхлипнула от жалости к себе. Достала из кармана растянутой вязаной кофты огромный мужской носовой платок и долго в него сморкалась, а потом уголком вытерла слезы и протерла уродливые, замотанные изоляцией очки. Какая она все-таки некрасивая! Какая-то нелепая, мосластая, с седой, непослушной, похожей на клоунский парик гривой. А покрасневший от слез носик? Его словно утрировали с помощью театрального гуммоза. Пожалуй, такой здоровый нос в Малаховке был только у Элкиной сестры Беллы и старьевщика Арона.

– А в школе учились! – продолжала Элка. – Все делали одинаково, а классная любила только Белку! Домашнее задание вместе делаем, под копирку, но ей – пять, мне – три. Как нагрузки распределять, ей – над первоклассниками шефствовать, с ними каждую перемену обниматься и в кино ходить, а мне – класс мыть или доску тереть. И позже вроде ровно шли, все одинаково, а ей вдруг обломилась серебряная медаль, а мне – шиш из-за какой-то дурацкой запоротой контрольной. Про выпускной даже вспоминать противно. Клавдия Гавриловна из ателье у станции два платица нам сшила одинаковых, муслиновых, голубых. Так Белка пришла в нем принцессой и вернулась под утро красавицей, а мне Фельдман-придурок вина красного стакан на подол опрокинул и начал ржать и кричать, что я в малаховском овраге невинность потеряла. Поэтому я, рыдая, огородами домой побежала, даже не потанцевав, а Белка, звеня медалью, веселилась до победного конца. – Нахлынувшие воспоминания сдавили Элке грудь, она снова захлюпала носом, а бабушка сняла закипевший рассол, поставила банки рядом в детскую цинковую ванночку и устало разогнулась.

– Ай, Элла, шо ты обкусываешь себе сердце! И шо уже вспоминать то, шо не помнит даже столетний Гуткин! Эта било так давно, шо ты сама уже точно не вспомнишь, или ты мучила, или тебя мучили. И кому ув тебе претензии? К момэ, или к бобэ, или к школьная администрация? Или к тому швыцеру Фельдману, что чем облить тебя вином, лучше

таки сводил бы ув овраг? Перестань уже пisać глазами! У мене будут пересолены огурчики!

– Тетечка Циля, не сердитесь на меня! Просто обидно от такой несправедливости и тогда, и сегодня! Я почему ведь вспоминаю? Не в школе же дело, плевать, если бы это было только тогда. Мне сейчас пятьдесят три года, какая школа! Но ведь это началось с рождения и тянется до сих пор. Были одинаковые, росли одинаково, обе Пищевой институт окончили, обе в одной малаховской коммисионке одевались. Все согласно фамилии дублировали. Только Белка сначала за директора универсама Чумиченко замуж сходила, а не успел он попасть под электричку – так нате вам! Теперь она жена протезиста, мадам Циферович! И двухэтажная дача со всеми удобствами, и зубной кабинет, и кооператив в Люберцах, и дети-близнецы, но не такие, как мы! А мне осталась старая халабуда на Красной Змеёвке, и то потому, что Белке ни она не нужна, ни выжившая из ума баба Фрида в придачу! Поэтому я и не молчу, и не перестаю возмущаться таким неравенством!

Про старуху Фриду Элка Дубель сболтнула зря. Фриду бабушка любила, когда-то сама бегала к ней за советом, как теперь к бабушке бегают Элка. К тому же пора было разливать в банки с огурцами рассол, это дело серьезное, требует аккуратности и спокойствия, иначе обвариться можно, а тут Элка со своими глупостями. Пора заканчивать.

– Знаешь, Элла, шо я тебе скажу: нигде не написано, шо

должно било бити наоборот и щастя должна била кушати ты – полной ложкой, а Белка скрести по дну. И никто его точно не щупал, того щастя. Еще неизвестно, в кого его било больше, когда будут подсчитывать ув конце. Шо ты болтала об детстве и об школе, то вообще халоймес², у тебе свербит неиспользованный овраг, перееханный поездом Чумиченко и зубник Циферович. Ты гадаешь, где такой у Белки кручок, шо она их зацепила, а ты не смогла. Так я тебе отвечу. У тебе зуби только ув во рту, а ув Белке – еще ув одном месте, не зря же ее муж – протезист! Так шо не во всем ви с Белка одинаковие: ув неё *там* зуби, тебе ее не обштопать! Поэтому висморкай нос и на сегодне иди уже на Красную Змеёвку, передай привет Фридошке.

Элка сползла с крыльца и поплелась к калитке, а бабушка хмыкнула, ловко разлила рассол и запечатала банки похожими на лопухи листьями хрена.

² Сны, мечты, пустые фантазии (*идиши*).

Старье берем

Когда Арон-старьевщик появился в Малаховке, никто не помнил. Да и кто мог помнить, если даже самые древние малаховские старики говорили, что еще детьми бегали за Ароновой телегой и его лошадкой Фанькой, умоляя прокатить хоть до соседней улицы или пытаясь выклянчить какую-нибудь драгоценную ерунду. Так что можно с уверенностью сказать, что Арону и его Фаньке на двоих было лет двести, не меньше.

Арон был кривой на один глаз, зато второй, здоровый, суетился за двоих, все время глядя по сторонам, ничего не упуская, одновременно следя за Фанькой, за прохожими, а главное – за тем, не валяется ли у дороги что-то полезное, что нашло бы место среди сокровищ на его телеге и потом могло бы быть выменяно на что-то необыкновенное.

Иногда, задремав на солнышке, пока Фанька ползла по улице, мерно вздыхая и шаркая стершимися копытами, Арон видел сон, в котором к нему вдруг подходит шикарный господин и говорит: «Уважаемый Арон, где вы сумели найти этих чудесных, почти целых солдатских сапог? Мне кажется, именно в них мой дед уходил на войну с белополяками! Умоляю, отдайте мне их за мои золотые карманные часы! Я понимаю, что вы так немножко продешевите, но пойдите мне навстречу!» Или, например, подбегает к нему толстая Гита,

что продает на рынке ряженку, вкуснее которой нет ничего на свете, и умоляет: «Ой вей из мир³, Арончик, будь ласка, не откажи, разреши мне взять эту зеленую кастрюлю без крышки, ведь у меня как раз только крышка на нее и есть, а за это ты сможешь каждый базарный день съесть столько моей ряженки, сколько захочешь!» Правда, пока это были только мечты.

Лошадка Фаня тоже мечтала, хотя мечты ее были попроще. Она мечтала, чтоб Арон уже перестал каждый день мотаться по Малаховке и окрестностям с этой чертовой телегой, давал летом Фаньке хоть один выходной, разрешая просто пастись на лугу с сочной свежей травой, а не давиться сеном, а зимой наконец забил щели в сараюшке, где она трясется от холода, и пристроил ей вместо попоны какое-нибудь хоть дырявое старое ватное одеяло, и она бы не так мерзла.

Вообще Фанька по-своему даже любила Арона и редко с ним ссорилась, хотя кривым он стал из-за нее – это она его лягнула, уже даже не помнила из-за чего. Люди говорили, он хотел сменять ее хомут и тощую торбочку с овсом на грабли, но Фаньке-то грабли ни к чему! Но она об этом не помнила и зла на Арона не держала. Просто это была очень немолодая еврейская лошадь, поэтому выглядела грустновато, наблюдая за несовершенным миром скорбными иудейскими глазами и тяжело вздыхая на каждом шагу.

Все малаховские дети обожали Фаньку и ждали, когда она

³ О Господи (*идиши*).

появится на их улице. Они угощали ее яблоками и грушами, морковкой и лопухами, подсоленной горбушкой, а то и кусками сахара. Фанька вела себя сдержанно, но на самом деле была этим детям рада и благодарна, ведь ни от кого она столько любви и нежности не видела. Они гладили ее своими маленькими ручками, целовали прямо в замшевый нос, не боялись совать свои угощения в желтозубую пасть. Их не смущало, что она была покрыта дорожной пылью, довольно резко пахла, но разве это могло быть препятствием для взаимной любви! И они бросались к ней при первом ее появлении, а она благодарно тыкалась мордой им в ладони и нежно дышала в лицо. И даже если какой-нибудь дурачок стегал ее прутиком, стрелял из рогатки еловой шишкой или царапал значком или сломанной пуговицей, она не обижалась.

Хитрый Арон давно понял, что больше всего его с Фанькой ждут именно дети, и на них строил свой сомнительный бизнес, положив в его основу два соблазна – голодную ласковую Фаньку и детскую жажду чего-то необыкновенного, а потому особенно ценного и соблазнительного. Арсенал его был небогатый, но беспроегрышный. Глубоко под соломой на Ароновой телеге лежали мешочек с леденцами на палочке в толстой коричневой бумаге, рядом – свистульки, а главное – набитые опилками или лоскутками мячики из серебряной бумаги на резинке.

Как же мы мечтали об этих мячиках! На рынке у станции ими по воскресеньям торговали цыгане, но мячик стоил

двадцать копеек, а жил максимум полчаса, так что на второй-третий раз бабушка или папа строго говорили: «Зачем тебе это барахло, не трать деньги на ерунду!» Что они понимали в ерунде! Ерундой были все их покупки, планы и расчеты, а серебряный мячик на резинке был мечтой! Поэтому добыть его хотелось любым путем.

И это отлично понимал Арон-старьевщик. Едва услышав его протяжное картавое «Стагё бером!», дети хватали из дому все, что плохо лежало, и волокли добычу к Ароновой телеге. Наивные родители не догадывались порой, что, сэконо-мив двадцать копеек на очередном мячике, они, сами того не ведая, расплачивались за него садовым инвентарем, инструментами, шарфами и шапками, ведрами и лейками, мясорубками и закаточными машинками. И никакие душеспасительные беседы, математические выкладки, ремень по заднице и любые другие наказания и запреты ничего не меняли. Блестящий мячик становился путеводной звездой, и не существовало ценности, которую жаль было за него отдать!

Конечно, сейчас, вспоминая детство и давно канувших в черную дыру времени Арона и Фаньку, а вместе с ними серебряные мячики на резинке, можно рассуждать об убожестве той жизни, жалких этих игрушках, скудости выбора и прочем. Но, когда видишь равнодушие, с которым сегодняшние дети воспринимают любые чудеса и сюрпризы, их вялую или всего лишь секундную реакцию на всякие подарки, становится обидно скорее за них, чем за себя. Сейчас ломаешь

голову, чем их удивить и порадовать, а тогда за рубль или бабушкин бидон для молока можно было получить целую кучу сияющего на солнце счастья, возвращающегося на резинке у тебя в руке!

А как первая любовь – она сердце жжет...

«Ну что ты все дома сидишь, в компьютер воткнувшись? Какого черта тогда на дачу приперлись! Погода чудесная, такая зелень яркая, сочная вокруг, липа зацвела – аж голова кружится от запаха, а ты прячешься за шторой...»

Действительно! Рвалась-рвалась в Малаховку, а из дома не вылезаю. Надо и правда лежак, что ли, выволочь, разлечься под солнцем, как в детстве, тем более что море в этом году точно не светит. Очки снять, подол приподнять, миску черешни рядом поставить и вспомнить, что настоящая жизнь вообще-то вокруг, а не в чудо-гаджете. Может, и правы те, кто не стал сюда ни интернет, ни телефон проводить, кто отодвинулся от цивилизации подальше, а на самом деле вернулся к жизни.

Я вытащила из гаража широкий финский лежак и толстый матрас, заволокла их под старый клен башкой в тень, ногами на солнце и рухнула плашмя. Ну, здравствуй, деревянная машина времени о четырех ножках, неси меня назад, туда, где не было никаких выложенных плиткой дорожек, кирпичных заборов, гаражей – поскольку не имелось машин, – не было двухэтажных хором, городских сортиров, стриженных газонов, помощников по хозяйству – да и самого хозяйства – и даже лежаков, ни финских, ни каких-нибудь еще. А было

драное, отслужившее свой спальный срок комковатое ватное одеяло, которое ты бросала на полянке между кустами сирени, жасмина и жимолости, рядом – книжку и облупленную эмалированную миску с тем, что нещедро росло на нашем участке. И, натаскав бабушке из колодца воды, сгоняв на велике на угол в магазинчик за хлебом и кочаном капусты для борща, могла наконец плюхнуться на это одеяло и делать что душе угодно!

А дел хватало! Можно было весь новый альбом зарисовать, можно дочитать «Наследника из Калькутты», а можно сквозь кусты следить за соседскими дачниками. Не то чтобы они были такими уж загадочными или необычными – нет. Они от нас и не отличались ничем. Но у них был старший внук Лёня, старше меня на целых два года, да еще на гитаре играл! Это поинтереснее и картинной галереи, и Штильмарка с подлым ворюгой Василевским⁴! К тому же и Лёне на даче с бабушкой и младенцем-братцем скука смертная, поэтому и он через забор в твою сторону косится, а это уже Шекспир!

Так что, прежде чем устроиться на старом одеяле, ты кое-как, поливая чуть теплой водой из ковшика, моешь голову и

⁴ Роберт Александрович Штильмарк – писатель, журналист. В 1945 году был репрессирован. В лагере по заказу Василевского, заключенного, близкого к администрации, написал роман «Наследник из Калькутты». Василевский планировал выдать роман за собственный и таким образом досрочно освободиться. Из этого ничего не вышло, и в 1959 году Штильмарк смог доказать, что он – единственный автор романа.

распускаешь косу, надеваешь самый свой козырный сарафан и только потом укладываешься на наблюдательный пост. И, как твоя нынешняя собака в охотничьей стойке, выслеживающая белку или соседского кота, аж дрожишь и не чувствуешь животом сквозь тощее одеяло ни шишек, ни желудей, ни камушков, а, прикрывшись альбомом или книжкой, только вслушиваешься и вглядываешься в движение на соседской территории.

И Лёня, который только что ругался с бабкой, не желая тащиться на станцию за картошкой и кабачками, замолкает, видя тебя через раскрытое окно террасы, хватает гитару и, не глядя в сторону вашего участка, пристраивается на лавочке и ломающимся голосом подростка, беззастенчиво фальшивя и путая слова, заводит «Ланку» или «Не гляди назад, не гляди...». И тебе там, на одеяле, двенадцатилетней краснощекой домашней толстухе, кажется, что расставания, измены и безответные любви, о которых он поет, – твои, что этот четырнадцатилетний пацан с облупленными коленками понимает про тебя то, что не могут понять ни родители, ни подруги. Но только как дать ему об этом знать?

Только бы не было дождя! Только бы можно было на пару часов ускользнуть от бабушки, которая на самом деле смотрит на вас из-за шторы и усмехается, и вытирает слезы от того, что твое взросление – знак приближения ее ухода. Но ты этого не видишь, ты вообще ничего не видишь – ни одеяла этого драного, ни покосившейся старой дачи, ни деше-

вого сарафана и аптечной резинки на косе – только Лёню в пионерских шортах и его покоцанную семирублевую гитару с двумя переводными картинками на корпусе, и тебе кажется, что он красивее и поет лучше, чем Рафаэль⁵ или Хампердинк⁶, в которых все были влюблены этой зимой.

И план срabатывает! И Лёня заговаривает с тобой через штакетник! И ты, обдирая кустами голые ноги, не боясь папиного возмездия, выламывая четыре плашки забора, сложенком переползаешь с миской клубники и пылающими щеками на вражескую территорию. И вы лопаете эту клубнику, роняя кровавые пятна сока на парадную одёжу, и орете дурными голосами репертуар пионерлагерей и пересыльных тюрем, и чувствуете такое родство душ и взаимопонимание, которых глупым бесчувственным родителям и не снилось! И вместе идете для одной бабушки на рынок, а для другой – качать воду, а вечером – за калитку, подальше от родственных глаз, поговорить по душам. И так каждый день целый месяц! И ты счастлива, и тебе кажется, что так будет до конца лета и вообще всегда, потому что это же Настоящее, Большое, Взрослое, чего не было ни у кого – только у вас...

А потом он зовет тебя в неурочное время к забору и сообщает, что завтра уезжает с папой к другой бабушке в Челя-

⁵ Мигель Рафаэль Мартос Санчес, известный как Рафаэль, – испанский эстрадный певец, отличающийся своеобразной манерой исполнения, сочетающей интернациональный вокал со специфически испанскими приемами фламенко.

⁶ Энгельберт Хампердинк – британский эстрадный певец, чья популярность пришла в вторую половину 1960-х – 1980-е годы.

бинск, потому что, оказывается, он там и живет, а в Москве – мама, маленький брат, новый мамин муж и бабушка, которая взяла его с собой на дачу. Вам просто не хватило времени об этом поговорить. И он хлюпает носом и грызет ногти, а у тебя падает сердце, но тебе кажется, что ты держишь фасон, поэтому чужим хриплым голосом говоришь: «Ааааа, ну ладно, ну пока тогда...» И быстро убегаешь, чтобы не начать реветь белугой прямо при нем. И забываешь занести домой это чертово одеяло.

А всю ночь грохочет гром и стеной льет дождь. И одеяло превращается в ватное грязное месиво. Да оно и не нужно больше – Лёня же по дороге в Челябинск. И одеяло выносят на костер. И только дня через три ты случайно находишь в кустах перед лазейкой на соседний участок Лёнину драгоценность – промокший насквозь песенник со всем вашим репертуаром. И ты изучаешь его тщательнее, чем оригинал «Слова о полку Игореве», все время ища и надеясь на какие-то личные сигналы и знаки. И находишь на предпоследней странице у корешка муравьиную клинопись: «Таня я тебя л». И два дня рыдаешь, как солдатка, не дождавшаяся мужа с фронта и получившая посмертное письмо. А потом два года гордишься и чувствуешь себя девушкой-с-историей. И подруги тебе завидуют и с тобой советуются. Хотя песенник с надписью почти никто не видел – он был мокрый, весь разлезся, стал липкий и пахивал, бабушка его выбросила.

Я провалилась на лежаке часа два, в основном лицом вниз,

в матрас, глядя внутрь себя. А что я вокруг не видела? Газон, деревья, дорожки, гараж, четыре забора. Никаких дачников нет, мы купили соседскую половину, теперь сквозь кусты лезть не надо было бы, но уже лезть некуда и незачем. Один комфорт и тоска.

Ожидание

До глобального потепления и массового центрального отопления май был еще слишком холодный, чтоб переезжать на дачу. Но 9 Мая мы, как правило, все-таки неслись на электричке в Малаховку по второму моему главному и родному малаховскому адресу. Мы спешили к папиным маме и сестре, тоже давно осевшим в этом райском месте. Нас там ждали всегда, были нам рады всегда, баловали нас с сестрой всегда, и нам всегда там было интересно. Бабушка Душа, точнее Евдокия Ивановна, и тетя Таля (Наталья Андреевна) жили в восьмиметровой комнатенке в домишке на несколько семей от поселкового совета, то есть практически коммунальном доме – с кучей ступенек, чуланов, порогов и дверей, темных коридоров и закоулков, из которых вдруг возникали неизвестные старухи или нетрезвые дядьки, пятнадцатисвечевых тусклых лампочек, тазов, шаяк, ведер, салазок и – как символ благ цивилизации – с тремя газовыми плитами на общей кухне. Там все время что-то варилось, пеклось и шкварчало, и было странно, что нельзя это все попробовать, потому что это чужое. Даже воду пить можно было только из собственного ведра или чайника.

Бабушка Душа и бездетная тетя Таля ждали нас с сестрой, как схождения благодатного огня. Они готовились к нашему приезду все время между нашими нашествиями, а мы,

кроме коротких летних набегов, приезжали в основном на каникулы или на карантин, то есть когда одна из нас болела дома, а вторая у бабушки с теткой спасалась от заразы. Гости немедленно выделялось теткино царское ложе – кровать с панцирной сеткой и серебристыми шишечками по углам, с парой перин и кучей подушек. Бабушка тулилась на своем обычном месте – горбатым диванчике под привычным тогда ковриком-гобеленом – не с оленями и лебедями, а с сельским пейзажем и на переднем плане женщиной, разводящей костер. Я была уверена, что это бабушка в молодости. Безответная тетя Таля, уступив свое место, безропотно укладывалась на раскладушке между печкой и столом. И место оставалось только для наших тапочек.

Но это на ночь. А днем был сплошной и бесконечный разврат. Обычно нас привозила или приводила другая бабушка – Циля, с которой мы жили постоянно и поэтому были вынуждены следовать ее правилам и порядку. Баба Циля кормила нас, как ей казалось, правильно и диетически, что, правда, всю мою последующую жизнь опровергали эндокринологи, борясь с ужасающими их моими брутто и нетто. Но Цыпа считала, что красивый ребенок – полный, поэтому целый день толкала в нас сырники, блинчики и куриные котлетки, а мы и не возражали. Меню бабы Души она не понимала и поэтому на всякий случай не одобряла. При этом Цыпа, хоть и была малограмотной, у русской части нашего семейства считалась ученой интеллигенцией в силу ее еврей-

ского происхождения, и ей покорно внимали. Она передавала нас в руки сватье и строго предупреждала: «Квас не давать, селедка – немнога, гриби ни в коем случае, ими люди травятся, сала эта гадость и шоколад шоб не объедались!» Баба Душа и Таля покорно трясли головами и говорили: «Так что же, Циля, разве ж мы не знаем! У нас все будет строго, как в больнице!» И уводили счастливую гостью в восьмиметровые райские кущи.

О, какая же это была правильная больница! Наверное, так в мечтах обжоры выглядит Институт питания! Для начала из погреба доставался домашний головокружительный ледяной квас на изюме, который никто не запрещал вылавливать и есть. И селедки соленой и копченой сколько хочешь! Мне кажется, мы именно там узнали азы арифметики, считая хребты от съеденных кусочков селедки на своей и бабушкиной тарелках. Она разделяла наши вкусы! После селедки из крошечной морозилки доставалось домашнее, в тряпочке, сало с жующейся шкуркой. И можно есть без хлеба! А потом грибы! Соленые чернушки, крепкие и хрустящие, переложенные пластинками засолившегося вместе с ними чеснока и политые душистым постным маслом! И опять – от пуза! И все это с картошкой, мятой с жареным луком. Что еще надо для счастья, если знаешь, что в гардеробе припрятаны шоколадные медальки и мешок грецких орехов! Никакого пошлого супа или вульгарных котлет (хотя у бабы Циля мы от них ни разу не отказались). И ведь что удивительно:

нам было только хорошо и никогда – плохо. Не болело от ледяного кваса горло, не крутило пузо от этой адской смеси, а было сплошное счастье!

Потом, наевшись, мы шлялись по соседям, выслушивали коммунальные сплетни и дразги, наблюдали изнанку обычной, но незнакомой нам жизни, и это было ужасно интересно. Иногда нам задавали довольно гнусные или провокационные вопросы на еврейскую тему и гадко трактовали наши ответы, но это случалось нечасто – все-таки Малаховка прививала от антисемитизма. В основном это были бытовые глупости, да мы и не очень их тогда понимали и улавливали, так что праздника это нам не портило. Зато у соседей попадались другие дети, то младенцы, то ровесники, под ногами крутились щенки, в клетках пели канарейки – чистый рай! Дома-то все изучено и нет такого разнообразия. Казалось, жизнь бабы Души и тети Тали – мечта, можно только позавидовать!

А на самом деле половина родни бабы Души сгинула при раскулачивании, она воспитывала шестерых своих детей и четырех приемных. Двое своих умерли в младенчестве, а остальных тянула старшая – тетя Таля, похерив так свою собственную личную жизнь. Она была с детства глуховатая, очень стеснительная и робкая, совершенно безответная и безотказная и при всей своей безрадостной, нищей и вообще-то чудовищной жизни сохранившая удивительную способность любить всех и прощать всё всем. Кто на ней толь-

ко не ехал, кого она только не пестовала, не обстирывала, за кем только не ухаживала. И им же за это говорила спасибо и этим была счастлива.

После войны, похоронив деда, бабушка Душа, Таля и вдова папиного брата с крохотной дочкой переехали в Малаховку и поселились в этом доме друг у друга на голове, потом туда же вернулся мой демобилизовавшийся папа. Старший папин брат жил в Москве, двое усыновленных ребят не вернулись с фронта, а еще двое осели в других городах и у бабушки почти не появлялись. А средний папин брат, Андрей, сгорел в танке и числился пропавшим без вести. Именно поэтому на 9 Мая мы стремились к бабушке и Тале. За годы после войны не раз возникали свидетели гибели дяди Андрея, приезжали его однополчане, но формально он так и числился без вести пропавшим, и в бабушке это поддерживало надежду, что он найдется и как-нибудь приедет. Баба Душа и Таля цеплялись за каждую послевоенную историю удивительных возвращений, которые служили доказательством не просто возможности такого чуда, а обоснованности их ожидания и обязательной будущей встречи.

Баба Душа и Таля на удивление легко и радостно приняли мою маму, очень ее полюбили, бабу Цилю считали за свою, только более утонченную, и было очень смешно, когда баба Душа с двумя классами и пенсией в восемь рублей говорила папе про бабу Цилю с двумя классами и пенсией в девять рублей: «Валя, Циле-то тяжело вас всех обихаживать да дом

вести и горбатиться. Вы б ее в санаторию направили или на курорту какую с морем, она все ж нежная!» Сама баба Душа, пахавшая с детских лет без продыху и сроду никуда не выезжавшая, считала, что жизнь к ней более справедлива. Вообще, вот у кого надо было поучиться проявлениям истинной толерантности!

Как-то баба Душа вызвала папу к себе в неурочное время. Причем безоговорочно, строго и телефонным звонком от станции (дома телефона, естественно, у них не было). Папа помчался к ним после работы, ломая голову, что же произошло. Когда он вошел в комнату, бабушка и Таля с посуровевшими лицами и прямыми спинами сидели у стола. Перед ними лежали журнал «Огонек» с какой-то паскудной статьей об эмигрантах – предателях Родины – и пара газет. Бабушка велела папе сесть и строго начала:

– Валентин, тут мы с Натальей и в газетах, и по телевизору вон чего слышали-то! Оказывается, евреи теперь многие уезжают отсель в пустыню, в Израиль, тама у их, пишут, своя страна. Так ведь и Софа с Цилей и девочками могут потянуться туда. И вот тебе мое материнское слово: ты уж их не бросай, езжай с ими. Как там в пустыне-то без мужика жить! Мы-то тут уж сами справимся!

Талья мелко кивала головой и роняла крупные слезы. Они так и не поняли, почему после той речи папа захохотал.

Баба Душа прожила долгую жизнь, до конца оставаясь никому не в тягость, ничего не требуя, даже внимания, и благо-

дарила, когда у кого-то из нас находилось время лишний раз к ним с Талей наведаться. Когда ей стало совсем худо, она каким-то чудом дотянула до папиного возвращения из долгой командировки, успела с ним проститься и только посетовала, что все-таки не дождалась Андрюшу. Мне так хочется верить, что теперь они встречают День Победы все вместе.

Суки

Сначала, конечно, появилась одна сука. Причем, покупая ее за полтора рубля у подземного перехода через малаховскую железку, будущий хозяин был уверен, что это кобель. Да и что там разберешь у двухнедельного щенка? Было только видно розовое пузо, гладенькую белую шерстку и черное ухо. На это хозяин – вредный, жмотоватый, но сентиментальный мужик – и купился, хлюпая носом в кинотеатре «Союз» под «Белого Бима Черное ухо». Он и назвал щенка сразу Бимом, но вышла незадача: Бим оказался сукой в изначальном смысле этого слова. Так в Малаховке на нашей улице появилась Бима.

Хозяин Биму оставил, признавал своей, но особенно не баловал, как, собственно, и всех, кто от него зависел. Месяца через три и летом и зимой Биму пускали на хозяйский двор только переночевать, а в остальном она была на полном самообеспечении. Так что неудивительно, что вскоре она освоила все близлежащие помойки и накоротке сошлась с соседями, выучив распорядок дня каждого.

Стоило нам сесть на террасе завтракать, как через пару минут раздавался жалобный стон забора, затем звук перекинутого через него мешка и через секунду под окном стояла невысокая, но ладная Бима, укоризненно глядящая на жующих. Не поделиться с ней было невозможно, да и все это

делали с удовольствием. Она не наглена, виляла благодарно хвостом, никогда не лаяла, не тревожила ни детей, ни стариков и не была назойливой. Улыбаясь во всю пасть, ловила на лету сосиску, кусок сыру или позавчерашнюю котлету и исчезала.

Каждый год Бима рожала двух щенков, внешне похожих исключительно на ее случайных возлюбленных, но с чудесным материнским характером, и их с удовольствием разбирали соседи. Бима словно была уверена в их счастливой судьбе и не тосковала, только мучилась от избытка молока, волоча разбухшие сосцы по траве. Именно в такой момент ей и встретила сука номер два.

Забежав на знакомую помойку, украшавшую вход в ближайший лесок, Бима наткнулась на крохотное существо дней двадцати от роду с тщедушным игрушечным тельцем, покрытым редкой, но выющейся черной шерстью, непропорционально большой башкой, длинным горбатым носом и слезящимися красными глазами навывкат. Когда существо отважилось подползти к Биме, оказалось, что оно еще и волочит вывернутую вбок лапу. Но у Бимы были свои представления о прекрасном. Она вылизала это малюсенькое собачье дитя, накормила от пуза из всех своих молочных рек и отволокла в укромное место.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.